

БАҚЛАЖАНЫ

I.

СУДЬБА НА ВЕРЕВОЧКЕ.

Разве не говорили все и разве не утверждали, что украинские ночи сотворены для любовных восторгов?

Разве Гоголь не восклицал патетически: „Знаете ли вы украинскую ночь?“—и разве не отвечал он сам, видя, что язык отнялся у заробевшего читателя: „О, вы не знаете украинской ночи“.

И разве Куинджи кусок этой ночи, втиснутый в золотую раму, не передвигал по всем губернским городам Российской империи, пока не пригвоздил его гвоздем вечности к стене Третьяковского прибежища?

Да. Пленительна и сластолюбива украинская ночь. Но в сто, в тысячу, в миллион раз пленительнее и сластолюбивее знойный украинский полдень.

Беззвучно и тихо скользит хрустальная река. Где-то вдали, словно чье-то бестревожное сердце,

постукивает мельница, огромный, как майн-ридовский кондор, аист-лелека мерно пролетает над водою.

О, счастливые любовники, обитающие в Советской украинской социалистической республике! Усталые, раскинулись вы среди лоз, разросшихся на песке, и перебираете пальцами золотую солнечную сетку и грезите о тех временах, когда у человека отец был уже человек, но дедушка еще шимпанзе.

Да. Прекрасен украинский полдень, и не угнаться за ним, никогда не угнаться куинджевской ночи.

* * *

Двадцатого июля тысяча девятьсот, кажется, двадцать пятого года на белом пляже у реки Ворсклы грелись и отдыхали после купанья три голые — вполне можно сказать — красавицы, с телами не светлее той медной посуды, которую продают у нас цыгане, и волосами такими же черными, как цыганские бороды. Три красавицы эти были на три различных вкуса, и появившись сейчас среди них древний Парис, он, пожалуй, опять затруднился бы, которой вручить свое историческое яблоко, вернее, предложил бы каждой по очереди отведать понемножечку.

Одна была очень пышна и очень тяжела и лежала между своими подругами, как массивная

библия с рисунками Дорэ лежит между переплетенными брошюрами.

Другая была стройна, как кедр ливанский, обращенный к востоку. Похожая на Суламифь, она посыпала горячим песком свое смуглое бедро и презрительно жевала стебель.

Третья была вертлява и костлява, она совсем не лежала спокойно, но то падала ничком, словно плавала по песку, то, раскинувшись, распластывалась на спине, отдаваясь солнцу, то садилась на корточки, опираясь руками о землю, как кенгуру, готовый прыгнуть.

Вокруг красавиц валялись белые рубашки и пестрые платья, туфли и еще ханки — пустые высушенные тыквы, заменяющие украинским Веверлеям пузыри.

Красавицы уныло пели на мотив известного танца баядерки:

Омоложение — это радость, мечта.

Вернется юность и красота.

Исчезнет ряд морщин,

Исчезнет ряд седян,

И буду я опять пленять мужчин.

— Соломон вчера опять приходил и искал моей руки, — сказала Суламифь, — он до того в меня влюблен, что мне даже стыдно, тем более, что замуж я за него никогда не выйду.

— Почему же ты никогда за него не выйдешь, Рая? — спросила самая полная, переворачиваясь осторожно, чтобы не перековырнуть вселенную.

— Потому что у него характера не больше, чем у половой тряпки. А я люблю жестких мужчин. И потом у него смешная фамилия: Поднос.

— Но если ты не выйдешь за Соломона, то за кого же ты выйдешь?

— А зачем мне вообще выходить?

— Не говори так. Когда я вышла замуж, я в первый же год прибавила на восемнадцать кило. А ты видела Мышкину. Когда она вчера купалась, на нее было симпатично смотреть. У нее все тело словно перевязано ниточками.

— Мышкина не от замужества потолстела. Я же знаю: она пьет пиво с медом, с маслицем и с желтками.

Красавицы умолкли и потом опять запели:

Омоложение — это радость, мечта...

— Я сегодня была на базаре, — заговорила порывисто и страстно та, которой не лежалось спокойно, — и видела, как в фазетоне проехал такой интересный человек. Он ехал со станции, потому что у него в ногах лежал чемодан.

— Это приехал к Кошелевым их родственник из Москвы. Кошелева вчера приходила к нам

в магазин и спрашивала, когда приходит поезд. Мы ей сказали.

— Он приехал жениться на Вере Кошелевой?— спросила Рая.

— Пш... Разве он дурак или душевно-больной? Такой мужчина может жениться на богатой и совсем молоденькой девушке. Он как принц.

— Ты, Зоя, готова влюбиться в простой пенъ. Разве ты не сказала, что новый провизор самый красивый человек в мире?

— При чем тут я? Это говорят все.

Полная в это время села и стала натягивать на могучие ноги длинные палевые чулки.

— Я ухожу, — сказала она. — Лева скоро придет домой. Ай, какой он смешной в своей любви ко мне. Он каждый день мерит меня сантиметром. Ему все хочется, чтоб я была совсем толстушкой.

— Молодой Кошелев гладко выбрит и похож на артиста, — сказала Зоя, расправляя и надевая на шею рубашку. — Таких мужчин приятно целовать в губы.

Они стали одеваться и скоро ярко запестрели на фоне зеленых холмов.

А на зеленых холмах в полуденной дымке застыли Баклажаны — город белых одноэтажных домиков и голубых деревянных церквей, родной брат Хороля и Кобеляк, племянник Миргорода, город акаций, фруктовых садов и пирамидальных тополей,

маленький город с единственной мощеной улицей и кирпичными тротуарами. Из его кудрявого зеленого букета торчала, словно палка из цветочного горшка, худая мачта-антенна на крыше единственного сознательного товарища.

По тропинке, спускающейся к берегу, в это самое время шли два человека, один высокий, весь в белом, без шляпы, другой низкий, сутулый, какой-то серый, едва поспевавший за белым.

— Вот он, — прошептала Рая, — это с ним идет Бороновский, — я его боюсь. Папаша сказал, что от него можно заразиться чахоткой. Посмотри, какое желтое у него лицо, как лимон.

Полная одернула сзади платье, чтоб кверху подтянуть декольте.

Они, потупившись, прошли мимо Кошелева и Бороновского и не оглянулись, только полная теперь одернула декольте вниз, чтобы побольше закрыть спину.

Они обернулись к Зое, которая шла сзади, но ее не было.

— Где же она? — удивленно спросили обе друга друга и воспользовались случаем внимательно оглядеть белую спину, исчезавшую в зелени.

— Она верно пошла другою дорогою, она всегда боится тех, в кого влюблена: она глупа.

— А он, правда, красив, — прошептала пышнейшая из пышных.

— Мужская красота — фикция, — презрительно отвечала Рая, — у всех русских плоские лица.

Ну, конечно, Кошелев не был красавцем в том смысле, как рисуют на картинках, да и в самом деле не фикция ли мужская красота? Но уж он вовсе не был похож на баклажанских мужчин и выделялся среди них, как в столице нашей выделяется заезжий англичанин. Все на англичанине не такое, и портфель у него с машинкой, и башмаки невообразимо острые, и пальто зеленое нескладностью своею складное, и шляпа аппетитная, как шоколадный торт, и очки черепаховые огромные, не для человеческих глаз, и ни разу локтем в толпе даму наотмашь не саданет. Клином врезалась в революционную столицу буржуазная штука. И таким же клином в Баклажаны вонзился Кошелев. Баклажанские мужчины бредутся редко, а то и вовсе не бредутся, а он через день, у баклажанских мужчин брюки гармошкой болтаются, а у него складка спереди сверху до низу, и рубашка прозрачная особой спортивной выработки — от блаженной памяти — Альшванга. Да как же это возможно, воскликнут иные скептики, чтоб на восьмой год рабочей власти подобная рубашка, как же не смел ее вихрь революции! А вот не смел, и дело тут, очевидно, не в слабости вихря, а в прочности материи; да что ж вы рубашке удивляетесь, если и сам Кошелев — носитель ее —

уцелел. Уцелел и в Баклажаны приехал поездом прямого сообщения.

Кошелев и Бороновский вышли между тем на берег.

Река ослепительно сверкала на солнце.

Таким миром и такою тишиною полно было все кругом, что Кошелев замер, исполненный восторженного благоговения. А Бороновский, страшно запыхавшийся, схватился руками за грудь и стоял, бессмысленно выпучив глаза и глотая воздух, словно выброшенная на песок рыба.

— Какая благодать, — воскликнул Кошелев, — какая красота! Я понимаю, что Карамзин иногда падал ниц и восторженно целовал землю. Стоит поцеловать. Вы знаете, когда я сейчас шел по городу, у меня было впечатление, что я перенесся на машине времени в мирные гоголевские дни.

— Подобно фантастическому рассказу Уэльса, — проговорил Бороновский, несколько отдышавшись.

— Да. И как было чудно на одном домике, в котором по всем правилам следовало бы жить Ивану Ивановичу или Ивану Никифоровичу, увидеть серп и молот. Я даже в первый момент не мог сообразить, что это такое.

— А... это вы очевидно имеете в виду нашу почту.

— Как, вероятно, уютно жить в этих маленьких домиках. Всюду ставни, огороды... На некоторых